

ЭЛЕНА ФЕРРАНТЕ

Моя гениальная подруга

Ферранте – это потрясение!

ЭЛИС СИБОЛД, АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА «МИЛЫЕ КОСТИ»

КНИГА ПЕРВАЯ НЕАПОЛИТАНСКОГО КВАРТЕТА



Элена Ферранте

МОЯ ГЕНИАЛЬНАЯ
ПОДРУГА

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО



16+

Elena Ferrante
L'AMICA GENIALE

Copyright © 2011 by Edizioni e/o

Published in the Russian language by arrangement with *Clementina Liuzzi Literary Agency* and *Edizioni e/o*

*Эта книга переведена благодаря финансовой поддержке
Министерства иностранных дел и международного сотрудничества
Италии Questo libro e' stato tradotto grazie a un contributo
finanziario assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale d'Italia*

Перевод с итальянского Ольги Ткаченко

Ферранте Э.

Моя гениальная подруга / Элена Ферранте ; [пер. с ит. О. Ткаченко]. — М.: Синдбад, 2017.

ISBN 978-5-906837-47-9

Первый из четырех романов уже ставшего культовым во всем мире «неаполитанского цикла» Элены Ферранте — это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-е годы в одном из бедных кварталов Неаполя. Их детство и юность проходят на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только друг на друга. Идут годы. Пути Лену и Лилы то расходятся, то сходятся вновь, но они остаются лучшими подругами — такими, когда жизнь одной отражается и преломляется в судьбе другой.

Через историю Лилы и Лену Ферранте рассказывает о драматических изменениях в жизни квартала, города, страны — от фашизма и господства мафии до расцвета коммунистического движения, и о том, как эти изменения сказываются на отношениях между героинями, незабываемыми Лену и Лилой.

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.
Издательство «Синдбад», 2017

Господь:
Тогда явись ко мне без колебанья!
К таким, как ты, вражды не ведал я...
Хитрец, среди всех духов отрицанья
Ты меньше всех был в тягость для меня.
Слаб человек; покорствуя уделу,
Он рад искать покоя, — потому
Дам беспокойного я спутника ему:
Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!
И. В. Гёте. Фауст¹

Действующие лица

Семья сапожника Черулло

Фернандо Черулло, сапожник

Нунция Черулло, мать Лилы

Рафаэлла Черулло; для всех — Лина, Ли́ла — только для Элены

Рино Черулло, старший брат Лилы, тоже сапожник

Рино — один из сыновей Лилы

Другие дети

Семья швейцара Греко

Отец, швейцар в муниципалитете

Мать, домохозяйка

Элена Греко, она же Ленучча или Лену, старшая дочь

Младшие дети — Пеппе, Джанни и Элиза

Семья Карраччи (дона Акилле)

Дон Акилле Карраччи, людоед из сказок

Мария Карраччи, жена дона Акилле

Стефано Карраччи, сын дона Акилле, колбасник в семейной лавке

Младшие дети — Пинучча и Альфонсо

Семья столяра Пелузо

Альфредо Пелузо, столяр

Джузеппина Пелузо, жена Альфредо

Паскуале Пелузо, старший сын, каменщик

Кармела Пелузо, она же Кармен, сестра Паскуале, продавщица в галантерее

Другие дети

Семья сумасшедшей вдовы Капуччо

Мелина, родственница матери Лилы, сумасшедшая вдова

Муж Мелины, при жизни — грузчик на овощном рынке

Ада Капуччо, дочь Мелины
Антонио Капуччо, ее брат, механик
Другие дети

Семья железнодорожника-поэта Сарраторе

Донатто Сарраторе, контролер
Лидия Сарраторе, жена Донато
Нино Сарраторе, старший сын
Мариза Сарраторе, старшая дочь
Младшие дети — Пино, Клелия и Чиро

Семья торговца фруктами Сканно

Никола Сканно, торговец фруктами
Ассунта Сканно, жена Николы
Энцо Сканно, сын Николы и Ассунты, тоже торговец
фруктами
Другие дети

Семья владельца бара-кондитерской «Солара»

Сильвио Солара, хозяин бара-кондитерской
Мануэла Солара, жена Сильвио
Марчелло и Микеле, сыновья Сильвио и Мануэлы

Семья кондитера Спаньюоло

Синьор Спаньюоло, кондитер у Солары
Роза Спаньюоло, жена кондитера
Джильола Спаньюоло, их дочь
Другие дети

Джино, сын аптекаря

Учителя

Ферраро, учитель и библиотекарь
Оливьеро, учительница
Джераче, преподаватель гимназии
Галиани, преподавательница лицея

Нелла Инкардо, двоюродная сестра учительницы
Оливьеро, родом с Искьи

ПРОЛОГ
ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ

Сегодня утром мне позвонил Рино. Я подумала, что ему опять нужны деньги, и уже приготовилась отказать. Но он звонил по другому поводу: его мать пропала.

— Когда?

— Две недели назад.

— И ты звонишь мне только сейчас?

Наверное, в моем голосе ему послышалась неприязнь, хотя в нем не было ни раздражения, ни возмущения, — лишь нотка сарказма. Он попытался оправдаться, но как-то неуверенно, смущенно, переходя с диалекта на итальянский и обратно. Сказал, будто решил, что мать, как обычно, гуляет по Неаполю.

— И ночью тоже?

— Ты же ее знаешь.

— Знаю, но две недели — это, по-твоему, нормально?

— Да. Ты давно ее не видела. Ей стало хуже: она почти не спит, то приходит, то уходит, делает что заблагорассудится.

В конце концов он все-таки забеспокоился. Расспросил кого мог, обзвонил больницы, даже обратился в полицию. Безрезультатно, матери нигде не было. Хорош сынок — толстый мужик под сорок, никогда в жизни не работал, занимался темными делишками да проматывал деньги. Я представила себе, как он ее искал. Да никак! Мозгов нет, а заботиться привык только о себе.

— А у тебя ее нет? — ляпнул он вдруг.

Его мать — здесь, в Турине? Он прекрасно знал ответ и задал вопрос, лишь бы что-то спросить. Сам-то он любил путешествовать и заезжал ко мне раз десять, не меньше, и всегда без приглашения. А вот его мать, которую я, напротив, приняла бы с радостью, никогда по своей воле не покидала Неаполя, ни разу в жизни.

— Нет, у меня ее нет, — ответила я.

— Точно?

— Рино, я тебя умоляю! Сказала ведь: ее здесь нет.

— А куда же она подевалась?

Он захныкал, и я позволила ему разыграть трагическую сцену с рыданиями, поначалу притворными, а потом вполне искренними. Когда он умолк, я сказала:

— Пожалуйста, хоть раз сделай так, как она хотела бы: не ищи ее.

— Что ты говоришь?

— Я говорю то, что говорю. Это бесполезно. Учись жить один и не ищи ее больше. И мне больше не звони.

Я повесила трубку.

2

Мать Рино — Рафаэлла Черулло, но все всегда звали ее Лина. Все, кроме меня: я никогда не называла ее ни одним из этих двух имен. Уже больше шестидесяти лет для меня она — Ли́ла. Если бы я когда-нибудь вдруг назвала ее Линой или Рафаэлкой, она бы решила, что нашей дружбе конец.

Уже лет тридцать, не меньше, она твердит мне, что хочет исчезнуть, не оставив за собой следов, и только я знаю, что она имеет в виду. Она никогда не помышляла о побеге, смене личности, не мечтала начать новую жизнь в другом месте. Никогда не думала и о самоубийстве: при одной мысли о том, что у Рино возникнут трудности с захоронением и ему придется поволноваться, ей делалось не по себе. У нее было другое на уме: она хотела испариться, раствориться до последней клетки, чтобы от нее не осталось ничего. И поскольку я ее хорошо знаю — по крайней мере, надеюсь, что знаю, — я не сомневаюсь, что она нашла способ не оставить от себя в этом мире ни волоска.

Прошло несколько дней. Я проверила электронную почту, без особой надежды заглянула в почтовый ящик. Я писала ей очень часто, но она почти никогда не отвечала — это вошло у нас в привычку. Она предпочитала разговоры по телефону и болтовню ночи напролет, когда я приезжала в Неаполь.

Я перебрала ящики, жестяные коробочки, в которых держу всякие мелочи. Совсем немного. Я выбросила кучу вещей, особенно связанных с ней, и она об этом знает. Я обнаружила, что у меня нет от нее ничего: ни портрета, ни записки, ни памятной вещицы. Я сама удивилась. Возможно ли, что за все эти годы она ничего мне не оставила, или хуже того — что я не захотела ничего от нее сохранить? Возможно.

На этот раз я сама скрепя сердце позвонила Рино. Он не отвечал ни на домашний, ни на мобильный. Перезвонил вечером, когда ему было удобно. Судя по голосу, рассчитывал вызвать у меня чувство вины.

— Я видел, что ты звонила. Есть новости?

— Нет. А у тебя?

— Тоже нет.

Стал молоть какую-то чепуху: будто бы собирается ехать на телевидение, на передачу, которая занимается поиском пропавших людей, обратиться с экрана к матери, попросить у нее прощения за все, умолять вернуться.

Я спокойно выслушала его, а потом спросила:

— Ты заглядывал в ее шкаф?

— Это еще зачем?

Конечно, такая простая идея никогда не пришла бы ему в голову.

— Загляни.

Он сходил и вернулся с отчетом, что в шкафу ничего нет, ни одной вещи — ни летней, ни зимней, только

старые вешалки. Я велела ему осмотреть весь дом. Обувь тоже исчезла. Исчезли немногочисленные книги. Исчезли все фотографии. Исчезли видеозаписи. Исчез компьютер и даже старые дискеты, которые давным-давно не использовались, — все атрибуты волшебницы, невероятно ловко управлявшейся с любой электроникой и освоившей калькулятор еще в конце шестидесятых, в эпоху перфокарт. Рино был поражен.

— Не торопись, ищи хорошенько, — сказала я ему. — Потом, если найдешь хоть одну ее шпильку, позвони мне.

Он позвонил мне на следующий день, очень взволнованный:

— Ничего.

— Совсем ничего?

— Нет. Она отрезана со всех фотографий, на которых мы были вместе, даже с моих детских.

— Ты хорошо искал?

— Везде смотрел!

— И в подвале?

— Я же сказал тебе — везде. Пропала даже коробка с документами: ну, всякие там старые свидетельства о рождении, договоры с телефонной компанией, квитанции. Что это значит? Нас ограбили? Что они искали? Чего хотят от нас с матерью?

Я успокоила его, убедила, что бояться нечего. Особенно ему: уж от него-то точно никто ничего не хочет.

— Можно я приеду и немного поживу у тебя?

— Нет.

— Ну пожалуйста! Я совсем не сплю.

— Ничего, сам справишься. Я не знаю, чем тебе помочь.

Я повесила трубку и не ответила, когда он перезвонил. Потом уселась за письменный стол.

Лила, как обычно, перегибает палку, подумала я.

Она слишком широко понимала, что значит «не оставить следов». Захотела не просто исчезнуть, сейчас, в шестьдесят шесть лет, но и перечеркнуть всю прожитую жизнь.

Я ужасно разозлилась.

«Посмотрим, кто кого на этот раз», — подумала я, включила компьютер и начала описывать нашу историю — всю, в подробностях, которые сохранила моя память.

ДЕТСТВО
ИСТОРИЯ ДОНА АКИЛЛЕ

Наша дружба с Лилой началась в тот день, когда мы решили подняться по темной лестнице, ступенька за ступенькой, пролет за пролетом, к самой двери квартиры донна Акилле.

Я помню двор в сиреновом свете, запахи теплого весеннего вечера. Мамы готовили ужин, и нам пора было по домам, но мы опаздывали: как обычно, и словом не обмолвившись, мы затеяли очередное соревнование — проверку на смелость. С некоторых пор и в школе, и после занятий мы только этим и занимались. Лила совала руку в черную пасть трубы, и я с замиранием сердца повторяла то же, надеясь, что меня не атакуют тараканы и не покусает мышь. Лила влезала на окно синьоры Спаньюоло на первом этаже, хваталась за железную перекладину, к которой крепились веревки для сушки белья, раскачивалась и спрыгивала на тротуар, и я следом за ней проделывала то же самое, хотя боялась упасть и ушибиться. Лила втыкала под кожу ржавую булавку, которую когда-то нашла на улице и носила в кармане как подарок феи, и я смотрела, как металлическая игла пробивает белесый туннель на ее ладони. Потом она вытаскивала булавку, протягивала мне, и я тоже колола себе руку.

Однажды она, как обычно прищурившись, пристально посмотрела на меня и указала на дом, в котором жил дон Акилле. Я похолодела от страха. Дон Акилле был настоящим людоедом из сказок, мне строго-настрого запрещали приближаться к нему, заговаривать с ним, смотреть на него или следить за ним; мне велели делать вид, что ни его, ни его семьи не существует. В моем доме, и не только в моем, все боялись его и ненавидели; я не знала, чем он это заслужил. Мой отец говорил о нем так, что мне он представлялся огромным,

покрытым фиолетовыми наростами свирепым чудовищем, несмотря на частицу «дон», внушавшую мне непререкаемое уважение. Не знаю, из чего было создано это существо — из железа, стекла, а может, из крапивы, — но оно было живым, живым, и из носа и изо рта у него вырывалось пылающее дыхание. Я верила, что, если взгляну на него даже издалека, он прыснет мне в глаза чем-нибудь острым и жгучим. А если осмелюсь приблизиться к двери его дома, он меня убьет.

Я подождала немного, на случай, если Лила вернется. Я знала, что она собирается сделать, и надеялась: вдруг передумает? Но нет, она не передумала. Фонари еще не зажгли, лампочки на лестницах тоже. Из окон доносились раздраженные голоса. Чтобы последовать за ней, мне надо было из залитого серо-голубым светом двора шагнуть в черноту подъезда. Когда я наконец решилась и вошла, то поначалу ничего не видела, только чувствовала запах затхлости и дихлофоса. Потом глаза привыкли к темноте, и я обнаружила Лилу, сидевшую на первой ступеньке первого пролета. Она встала, и мы начали подъем.

Мы двигались, прижимаясь к стене; она на две ступеньки впереди, я — на две позади, раздираемая сомнениями: догнать ее или отстать еще больше. До сих пор помню свои ощущения: плечо задевает за стену с облупившейся краской, а ступеньки очень высокие, выше, чем у нас в доме. Меня трясло. Когда мы слышали чьи-то шаги или голос, нам казалось, что это дон Акилле подкрадывается к нам сзади или идет навстречу с длинным ножом вроде того, каким разделявают курицу. Пахло жареным чесноком. Я представляла себе, как Мария, жена дона Акилле, бросает меня на сковородку с кипящим маслом. Потом их дети меня съедят, а он обсосет мою голову, как делает мой отец, когда ест барабульку.

Мы то и дело останавливались, и каждый раз я надеялась, что Лила повернет назад. Не знаю, как она, а я вся вспотела. Время от времени она поглядывала вверх, но я не понимала зачем, потому что в пролетах виднелись только серые окна. Вдруг зажегся свет, однако пыльные лампочки горели тускло, и часть лестницы по-прежнему тонула во тьме и была полна опасностей. Мы остановились и насторожили уши — вдруг это дон Акилле включил свет, — но ничего не услышали: ни шагов, ни скрипа открывающейся или закрывающейся двери. Лила пошла вперед — я потащилась следом за ней.

Она верила, что делает что-то важное и необходимое, зато у меня не было ни единой причины находиться там, кроме одной: идти за Лилой. Мы медленно приближались к самому страшному из наших тогдашних кошмаров, мы поднимались навстречу своему страху.

Когда мы дошли до четвертого пролета, Лила неожиданно остановилась, дождалась меня, а когда я ее догнала, протянула мне руку. Этот жест все изменил между нами. Навсегда.

2

Во всем была виновата она. Незадолго до того — дней за десять или за месяц, не знаю, мы не задумывались о времени — она без спросу взяла у меня куклу и бросила ее в подвал. Если сейчас мы поднимались навстречу страху, то тогда нам пришлось бегом спускаться вниз, в неизвестность. Вверх или вниз, но нам всегда казалось, что мы двигаемся навстречу чему-то ужасному, что существовало еще до нашего рождения и ждало нас, именно нас. Тому, кто не так давно появился на свет, трудно отличить настоящую беду от предчувствия беды, а может, и не нужно. Взрослые живут сегодня в ожидании завтра и оставляя позади вчера, позавчера,

максимум прошлую неделю — на большее их не хватает. А вот дети не знают, что такое «вчера», «позавчера» или «завтра», — для них существует только «здесь и сейчас»: вот улица, вот дверь, вот лестница, это мама, это папа, это день, это ночь. Я была ребенком, и, по правде говоря, даже моя кукла знала больше, чем я. Я говорила с ней, она — со мной. У нее была целлулоидная голова с целлулоидными волосами и такими же глазами. Кукла была очень красивая, в синем платье, сшитом моей матерью в редкий счастливый момент жизни. У Лилы тоже была кукла — с туловищем из пожелтевшей материи, набитой опилками; мне она казалась некрасивой и грязной. Куклы оценивающе поглядывали друг на дружку, следили друг за дружкой и при первых раскатах далекого грома готовы были вывалиться у нас из рук, словно кто-то большой и сильный, с острыми зубами, хотел их схватить.

Мы вместе играли во дворе, но играли каждая сама по себе. Лила сидела на земле по одну сторону от подвального окошка, я — по другую. Больше всего это место привлекало нас тем, что на цементном основании решетки, между прутьями которой была натянута металлическая сетка, можно было раскладывать всякие кукольные мелочи — камешки, крышки от газировки, цветочки, гвозди, осколки стекла. Я слушала, что Лила говорит своей кукле Ну, и то же повторяла своей Тине, немного меняя слова. Если она нацепляла на голову Ну крышечку, как будто это шляпа, я говорила: «Тина, надень корону, королеве нельзя простужаться». Если Ну в руках у Лилы играла в классики, вскоре и Тина принималась прыгать. Но мы пока ни разу не договаривались, во что будем играть, и никогда не играли вместе. Даже в это место мы приходили порознь. Лила направлялась туда напрямиком, а я бродила вокруг, делая вид, будто присматриваюсь. Потом как ни в чем

не бывало располагалась у того же окошка подвала, только с другой стороны.

Из подвала веяло холодком, весной и летом особенно приятным, и это тоже приманивало нас к окошку. Еще нам нравились темнота, решетка в паутине и красноватая от ржавчины сетка с закрученными в спираль уголками: в дырки можно было бросать камешки и слушать, как они со стуком падают на пол. В общем, там было красиво и страшно. Через эти отверстия темнота могла внезапно схватить наших кукол, которые то прятались от нее у нас на руках, то нарочно оказывались рядом с витой решеткой, поближе к холодному дыханию подвала, к доносившимся оттуда пугающим звукам — шорохам, скрипу, скрежету.

Тина и Ну не были счастливы. Они разделяли страхи, которые мы переживали каждый день. Мы не очень-то доверяли свету, падавшему на камни, здания, траву и деревья, на людей, что ходили по улицам или сидели по домам. Мы выискивали в них темные уголки, скрытые чувства, подавленные, но готовые вырваться наружу. В этих темных зевах, этих пещерах под окрестными домами, таилось все то, что пугало нас при свете дня. Дон Акилле, например, обитал не только у себя на последнем этаже, он был и тут, внизу, паук среди пауков, мышь среди мышей, неясная форма, способная принять любой облик. Я представляла его с приоткрытым из-за длинных звериных клыков ртом, с телом из глазурованного камня, поросшего ядовитой травой, с огромной черной сумкой, в которую он прибирал все, что мы бросали за решетку. Эта сумка была главным атрибутом дона Акилле: он всегда носил ее с собой, даже дома, и складывал туда все живое и мертвое.

Лида знала, чего я боюсь, — моя кукла вслух говорила об этом. Поэтому в тот день, когда мы, общаясь взглядами и жестами, впервые обменялись

куклами, она взяла Тину и сразу столкнула ее за решетку, в темноту.

3

Ли́ла появилась в моей жизни в первом классе начальной школы и сразу же поразила меня: она была ужасной злокой. Все мы проказничали, когда не видела учительница Оливьеро, но Ли́ла всегда вела себя отвратительно. Однажды она разорвала промокашку на кусочки, затолкала их в чернильницу, потом стала вылавливать один за другим и кидать нам в спину. В меня она попала дважды: один раз в волосы, другой — в белый воротничок. Учительница, как обычно, завопила своим резким, пронзительным голосом, которого мы все ужасно боялись, и в наказание приказала ей немедленно идти к доске. Ли́ла не послушалась и вроде бы даже не испугалась; более того, она продолжила швыряться шариками из промокашки, пропитанными чернилами. Тогда учительница Оливьеро, грузная дама, казавшаяся нам старухой, хотя было ей, наверное, чуть за сорок, вышла из-за стола и грозно направилась к Ли́ле, но споткнулась, потеряла равновесие, ударилась лицом об угол парты и рухнула на пол. Она лежала без движения, как мертвая.

Что было потом, я не помню, помню только неподвижное тело учительницы, похожее на темный мешок, и серьезный взгляд смотревшей на него Ли́лы.

В моей памяти сохранилось много подобных историй. Мы жили в таком мире, где дети и взрослые часто ранились до крови, у кого-то раны начинали гноиться, и иногда человек умирал. Одна из дочерей торговли фруктами синьоры Ассунты порезалась ножом и умерла от столбняка. Младший сын синьоры Спаньюоло умер от крупа. Мой двадцатилетний кузен однажды утром отправился чинить каменную ограду, а вечером его,

раздавленного обломками, нашли в луже крови, которая натекла изо рта и из ушей. Отец моей матери погиб на стройке: упал с высоты. У отца синьора Пелузо не было руки: ее отрезало токарным станком. Сестра Джузеппины, жены синьора Пелузо, скончалась от туберкулеза в двадцать два года. Старший сын дона Акилле — я никогда его не видела, но мне почему-то казалось, что я его помню, — ушел на войну и умер дважды: сначала утонул в Тихом океане, а потом его съели акулы. Целая семья Мелькиоре так и умерла в обнимку, завывая от страха, во время бомбежки. Старая синьора Клоринда умерла, надышавшись вместо воздуха газа. Джаннино, который был в четвертом классе, когда мы учились в первом, умер из-за того, что нашел бомбу и решил ее потрогать. Луиджина, с которой мы играли во дворе — а может, и не играли, просто мне запомнилось имя, — умерла от сыпного тифа. В нашем мире было много слов, которые убивают: круп, столбняк, сыпной тиф, газ, война, токарный станок, каменная ограда, работа, бомбежка, бомба, туберкулез, воспаление. Эти слова и связанные с ними страхи остались со мной на всю жизнь.

Умереть можно было даже от чего-то вроде бы обыкновенного. Например, если вспотеть, а потом выпить холодной воды из-под крана, не ополоснув предварительно руки: у некоторых после этого высыпала красная сыпь, начинался кашель и человек задыхался. Можно было умереть, съев черешню и подавившись косточкой. Можно было умереть, жуя жвачку и нечаянно ее проглотив. Но особенно страшно было умереть от удара в висок. Висок был самым уязвимым местом, его надо было особенно оберегать. Один удар камнем — и всё, а кидаться камнями у нас считалось нормальным. Как-то раз, когда мы выходили из школы, банда деревенских мальчишек во главе с Энцо, он же Энцуччо, одним из сыновей торговли

фруктами Ассунты, принялась швыряться в нас камнями. Они обиделись на то, что мы, девчонки, учимся лучше их. Мы убежали — все, кроме Лилы: она продолжала идти ровным шагом, время от времени останавливаясь. Она безошибочно просчитывала траекторию полета камней и уклонялась от них спокойно, сегодня я бы сказала — элегантно. У нее был старший брат, может, она у него научилась, не знаю; у меня тоже были братья, но младшие, и от них я ничему не могла научиться. Как бы то ни было, заметив, что она отстала, я встревожилась и остановилась ее подождать.

Уже тогда что-то мешало мне уйти. Я не знала ее толком, мы еще не перекинулись ни словом, хотя постоянно соперничали и в классе, и после школы. Но я смутно чувствовала, что если убегу вместе с другими девчонками, то она заберет частичку меня себе и больше никогда мне ее не вернет.

Сначала я спряталась за углом дома и стала выглядывать из-за него, не идет ли Лиля. Она не трогалась с места, и я принесла ей камни, несколько штук даже бросила сама, довольно неуверенно. Я много чего в жизни делала, но всегда сомневалась в себе, всегда чувствовала, что мои поступки существуют словно отдельно от меня. Лиля, напротив, с детства (кажется, тогда нам было лет по шесть или семь, сейчас не могу сказать точно, а когда мы вместе отправились вверх по лестнице к квартире дона Акилле, — по восемь, почти по девять) отличалась непреклонной решительностью. Если она к чему-то прикасалась — к перьевой ручке, камню или перилам на темной лестнице, — можно было не сомневаться: что бы она ни задумала — вонзить перо в парту, кидаться чернильными шариками, бросить камень в мальчишек из деревни или подойти к двери дона Акилле, — сделает это без колебаний.

Мальчишки по пути в школу переходили железнодорожную насыпь и там, между путями, набирали камней. Второгодник Энцо, главарь, был очень опасным: по меньшей мере на три года старше нас, с очень короткими светлыми волосами и светлыми глазами. Он метко швырял маленькие камни с острыми краями, а Лила ждала его бросков, чтобы показать ему, как ловко она уклоняется, разозлить его еще больше и сразу ответить столь же опасным ударом. Один раз мы попали ему в правую лодыжку — я говорю «мы попали», потому что это я подала Лиле плоский камень со сколотыми краями. Камень скользнул по коже Энцо как бритва, оставив красное пятно, из которого сразу же потекла кровь. У меня до сих пор стоит перед глазами картинка, как мальчишка смотрит на раненую ногу: большим и указательным пальцами он держит камень и уже занес руку для броска, но вдруг удивленно замирает. Остальные мальчишки из его шайки тоже смотрели на кровь, не веря своим глазам. Лила не выразила никакой радости, что ее попытка удалась, и наклонилась за следующим камнем. Я схватила ее за руку. Тогда мы впервые коснулись друг друга и сами испугались этого резкого касания. Я понимала, что мальчишки вот-вот разозлятся не на шутку, и нам лучше отступить. Но было уже поздно. Хотя у Энцо и текла кровь, он быстро вышел из ступора и бросил камень, который держал в руке. Я все еще крепко сжимала руку Лилы, когда камень попал ей в лоб. Ее рука вырвалась из моей. Мгновение спустя Лила лежала на тротуаре с пробитой головой.

4

Кровь. Обычно она текла из ран только после обмена ужасными проклятиями и мерзкими ругательствами. Всегда именно в таком порядке. Мой отец, который

вообще-то казался мне добрым человеком, постоянно костерил тех, кто, как он говорил, не достоин ходить по земле. Особенно дона Акилле. Отец всегда находил, в чем его упрекнуть, и я иногда закрывала руками уши, чтобы не слышать бранных слов, которые тогда производили на меня сильное впечатление. Говоря о нем с матерью, отец называл его «твой родственничек», на что мать возражала (они и вправду состояли в родстве, но очень дальнем) и добавляла оскорблений в его адрес. Меня пугала их озлобленность, а еще больше — что у дона Акилле могут оказаться чуткие уши, и он даже на большом расстоянии услышит, как его кроют. Я боялась, что он придет и убьет родителей.

И все же заклятым врагом дона Акилле был не мой отец, а синьор Пелузо, прекрасный столяр, вечно сидевший без денег, поскольку проигрывал все, что зарабатывал, в подсобке бара «Солара». Пелузо был отцом нашей одноклассницы Кармелы, взрослого сына Паскуале и еще двоих мальчишек. Они были беднее нас. Мы с Лилой иногда играли с младшими детьми Пелузо, но они вечно норовили что-нибудь у нас стащить: ручку, ластик, кусочек айвового мармелада... Мы им наподдавали, и они возвращались домой в шишках и синяках.

Синьор Пелузо представлялся нам воплощением отчаяния. С одной стороны, он и правда всегда проигрывал, с другой — все его осуждали, что он не в состоянии прокормить семью. По непонятным причинам в своих несчастьях он винил дона Акилле. Утверждал, что тот одним махом — словно гигантский магнит — утащил у него необходимые для работы столярные инструменты и еще какое-то добро, хранившееся в мастерской. Якобы дон Акилле забрал у него и саму мастерскую и превратил ее в колбасную лавку. Долгие годы я представляла себе, как дон Акилле всасывает в себя пилу, щипцы, молоток, тиски и целый рой

железных гвоздей. А из его грубого, тяжелого, корявого тела вылетают колбасы, ветчина, топленый жир и сыр проволоне — тоже роем.

Давние темные времена. Дон Акилле, вероятно, показал всю свою чудовищную сущность еще до нашего рождения. *Раньше*. Лила часто употребляла это слово — и в школе, и после уроков. При этом казалось, что ее не слишком волнует то, что было до нас, — все эти мрачные события, о которых взрослые или молчали, или говорили уклончиво, — поскольку все это на самом деле случилось «раньше». Но само это «раньше» очень беспокоило ее, а иногда и злило. Когда мы подружились, она часто рассуждала об этом *еще до нас*, которое закончилось, и страшно раздражала меня этими нелепыми разговорами. Это был такой долгий, очень долгий период, когда нас не было, когда дон Акилле предстал перед всеми в своем истинном обличье — опасным существом с не то каменной, не то звериной головой, которое всем пускало кровь, само не теряя ни капли. Кажется, его невозможно было даже поцарапать.

Мы были, наверное, во втором классе и еще не разговаривали друг с другом, когда пронесся слух, будто прямо у порога церкви Святого Семейства синьор Пелузо, выходя после мессы, начал выкрикивать что-то злобное о доне Акилле, а дон Акилле, отодвинув в сторону старшего сына Стефано, дочь Пинуччу, нашего ровесника Альфонсо и жену, бросился на Пелузо, схватил его, поднял над землей и швырнул так, что тот ударился о дерево и остался лежать без сознания с сотней ран на голове и на теле, из которых текла кровь. Бедняга не мог даже позвать на помощь.

Я нисколько не тоскую по детству: наше детство было полно насилия. Насилие преследовало нас повсюду, дома и на улице, но не помню, чтобы я хоть раз подумала, что нам выпала тяжкая доля. Наша жизнь была такой, какой была, и все тут; мы росли, считая своим долгом осложнить ее другим раньше, чем они осложнят ее нам. Конечно, я была совсем не против вежливости и уважения, которые проповедовали учительница и священник, но чувствовала, что в нашем квартале им не место, даже среди женщин. Женщины дрались между собой чаще, чем мужчины: таскали друг друга за волосы, охотно причиняли друг другу боль. Это было что-то вроде болезни. В детстве я представляла себе маленьких-маленьких животных, почти невидимых, которые по ночам приходят в наш район, вылезают из прудов, из заброшенных железнодорожных вагонов за насыпью, из травы, которую за жуткий запах называли вонючкой, из лягушек, саламандр и мух, из камней и пыли и попадают в воду, в еду и в воздух, и из-за них наши мамы и бабушки становятся злобными, как бешеные собаки. Они были заражены сильнее, чем мужчины: мужчины то и дело впадали в бешенство, но потом успокаивались, а женщины с виду казались спокойными, молчаливыми, но, когда злились, доходили в своей ярости до самого края и уже не могли остановиться.

На Лилу произвело огромное впечатление случившееся с Мелиной Капуччо, родственницей ее матери. И на меня тоже. Мелина жила в том же доме, что и мои родители: мы на втором этаже, она — на третьем. Хотя нам она казалась старухой, на деле ей чуть перевалило за тридцать. У нее было шестеро детей. Муж, ее ровесник, разгружал ящики на овощном рынке. Мне он запомнился низеньким и полноватым, но красивым мужчиной с гордым выражением лица. Однажды ночью он вышел из дома, как обычно, и не

вернулся — то ли умер от усталости, то ли его убили. Похороны были очень печальными, на них собрался весь район, пришли даже мои родители и родители Лилы. Спустя совсем немного времени с Мелиной приключилось что-то странное. Внешне она осталась такой же: сухощавой, с большим носом, уже седыми волосами и пронзительным голосом, которым она, высываясь из окна, зазывала детей, от отчаяния и злости растягивая звуки их имен: «Ааа-дааа, Миии-ке». Ей помогал Донато Сарраторе, который жил прямо над ней — на последнем, четвертом, этаже. Донато часто ходил в церковь Святого Семейства и, будучи примерным христианином, всю старался для Мелины: собирал деньги, поношенную одежду и обувь, устроил работать ее старшего сына Антонио в мастерскую к своему знакомому, некоему Горрезио. Мелина была так ему благодарна, что благодарность в ее безутешном сердце переросла в любовь, а любовь — в страсть. Неизвестно, догадывался об этом сам Сарраторе или нет. Он был очень добрым, но очень серьезным человеком: дом, церковь, работа. Он служил в поездной бригаде Государственной железной дороги и получал хорошее жалованье, на которое достойно содержал жену Лидию и пятерых детей; его старшего сына звали Нино. Его поезд ходил по маршруту Неаполь-Паола и обратно, и когда Сарраторе был не на работе, то полностью посвящал себя дому: вечно что-то чинил, ходил по магазинам, гулял с коляской. В нашем квартале это считалось ненормальным. Никому не приходило в голову, что Донато старается облегчить жизнь жене. Нет, все мужчины по соседству, и мой отец в первую очередь, считали, что Сарраторе просто нравится вести себя как женщина, тем более что он писал стихи и с удовольствием читал их всем подряд. Мелина тоже этого не понимала. Вдова предпочитала думать, что он по доброте души позволил жене сесть

себе на шею, и объявила Лидии Сарраторе войну, надеясь освободить его и дать ему возможность навсегда остаться с ней, Мелиной. Поначалу разгоревшаяся свара казалась мне игрой, хотя дома и за его пределами о ней говорили со злорадным смехом. Лидия развешивала чистые, только что выстиранные простыни, а Мелина вылезала на подоконник и прожигала их специально ради этого зажженной сигаретой; Лидия проходила под окнами, а Мелина плевала или опрокидывала ей на голову ведро грязной воды; Лидия вместе со своими взбесившимися детьми изо всех сил топала у Мелины над головой, а Мелина ночи напролет остервенело стучала в потолок шваброй. Сарраторе всеми возможными способами пытался примирить их, но он был слишком деликатным, слишком вежливым. Обиды копились, и обе женщины взяли за правило, даже случайно сталкиваясь на улице или на лестнице, честить друг друга по-всякому, оглашая окрестности яростными воплями. Вот тогда я начала их бояться. Одна из самых кошмарных сцен из моего детства — раздаются крики Мелины и Лидии; они осыпают друг друга оскорблениями, сперва высунувшись из окон, потом выскочив на лестницу. Моя мать бросается к двери, открывает ее и вместе с нами, детьми, выбегает на лестничную площадку. Финал — картина, невыносимая для меня даже сегодня: две соседки, сцепившись, скатываются по ступеням, и голова Мелины ударяется о пол, как выскользнувшая из рук дыня, в нескольких сантиметрах от моих ног.

Мне трудно об этом вспоминать, потому что в те времена мы, дети, заняли сторону Лидии Сарраторе. Возможно потому, что у нее были правильные черты лица и светлые волосы. Или потому, что мы понимали: Мелина хочет отобрать у Лидии ее мужа Донато. Или потому, что дети Мелины ходили грязные, в лохмотьях, а дети Лидии — чистенькие, причесанные, причем

Нино, на пару лет старше нас, настоящий красавчик, очень нам нравился. Одна Лила склонялась на сторону Мелины, хотя никогда не объясняла почему. Она только сказала однажды, что было бы неплохо, если бы все закончилось убийством Лидии Сарраторе. Я тогда решила, что Лила говорит так потому, что в душе она злая, а еще потому, что Мелина приходится ей дальней родственницей.

Как-то раз мы возвращались из школы вчетвером или впятером. С нами была Мариза Сарраторе, которую мы обычно брали с собой — не то чтобы она нам нравилась, просто мы надеялись через нее познакомиться с ее старшим братом Нино. Это она первая заметила Мелину. Женщина медленно шла по другой стороне улицы; в одной руке она держала бумажный кулек, а другой что-то доставала из него и ела. Мариза указала на нее пальцем и обозвала потаскухой — без всякого презрения, просто повторяя слово, которое слышала дома от матери. Лила, хоть и была ниже ростом и совсем тощая, вlepила ей такую затрецину, что Мариза повалилась на землю. Причем ударила ее Лила хладнокровно, как всегда, когда дело доходило до драки: ни крика до, ни крика после, ни предупреждения, ни выпученных глаз — невозмутимо и решительно.

Я сначала помогла расплакавшейся Маризе подняться, а потом обернулась на Лилу. Та шагала через дорогу к Мелине, не обращая внимания на грузовики. Я не видела ее лица, но что-то в ее походке меня поразило, что-то, что мне до сих пор трудно описать. Даже сегодня вряд ли смогу это толком объяснить: несмотря на то что она — маленькая, черная, встрепанная — не стояла на месте, а шла, мне она казалась неподвижной. Как будто застыла от жалости, глядя, что делает ее дальняя родственница, застыла будто соляной столб. Она словно срослась с

Мелиной, которая в одной руке держала кулек с мягким мылом, только что купленным в подвале у дона Карло, а другой рукой зачерпывала из него и ела.

6

Как я уже говорила, когда учительница Оливьеро упала в классе и ударилась головой об угол парты, я подумала, что она умерла — умерла на работе, как мой дед или муж Мелины, и мне казалось, что следом за ней умрет и Лила, потому что ее страшно накажут. Тем не менее в течение некоторого времени — не могу сказать, какого точно — вообще ничего не происходило. Просто обе они, и учительница и ученица, исчезли из нашей повседневной жизни и из моей памяти.

Потом началось нечто удивительное. Учительница Оливьеро вернулась в школу живой и здоровой, но не стала наказывать Лилу, что было бы естественно, а, наоборот, начала ее хвалить.

Эта новая фаза наступила, когда мать Лилы, синьору Черулло, вызвали в школу. Однажды утром к нам в дверь постучал сторож и объявил, что она здесь. Следом за ним в класс вошла Нунция Черулло: ее было не узнать. Как и большинство жительниц нашего квартала, она вечно ходила лохматая, в тапочках и каком-то старье, а теперь явилась в выходном темном платье (как будто собралась на свадьбу, причастие, крестины или похороны), с черной лакированной сумочкой, в туфлях на небольшом каблуке, которые причиняли страдания ее опухшим ногам, и передала учительнице два бумажных пакета — один с сахаром, второй с кофе.

Учительница охотно приняла подарок и, обращаясь к синьоре Черулло и ко всему классу, но глядя при этом на Лилу, которая сидела уставившись в парту, произнесла несколько фраз, общий смысл которых совсем сбил меня с толку. Мы учились в первом классе